

КСЕНИЯ МЯЛО

В ЗЕРКАЛЕ ЮБИЛЕЯ

На каракозовский выстрел, которым весной 1866 года был открыт продолжительный сезон охоты на императора Александра II, едва ли не самый взволнованный отклик пришёл из Соединённых Штатов Америки (или, как было принято говорить тогда, Северо-Американских Соединённых Штатов). 4 мая Конгресс провёл специальное заседание, на котором, выразив сожаление по поводу покушения, “совершённого врагами освобождения”, постановил: от имени американского народа “приветствовать его императорское величество и русский народ и поздравить семьдесят миллионов крепостных с провиденциальным избавлением от опасности государя, разуму и сердцу которого они обязаны благословениями своей свободы” (С. С. Татищев. “Император Александр II. Его жизнь и царствование”. Спб, 1903, т. 2, с. 12–13).

Для вручения этого послания российскому императору снаряжено было целое посольство, которое в конце июля того же года на броненосце “Миантаномо”, одном из первых судов такого типа, построенных в Америке, прибыло в Кронштадт и спустя несколько дней было принято Александром II в Петергофе. На этой встрече глава делегации Густав Фокс произнёс прочувствованную речь, которая и сегодня, в год 150-летия отмены крепостного права в России, может представлять для нас немалый интерес: ведь Фокс коснулся как раз той стороны события, о которой сама Россия давно и столь прочно забыла, что не вспомнила о ней даже в дни юбилея.

“В качестве членов великой семьи народов, — говорил тогда Фокс, — мы с радостью воздаём дань уважения высокому делу человеколюбия, о котором преимущественно упоминается в постановлении Конгресса. Мирολюбивые повеления высокопросвещённого государя одержали над наследием варварских времён победу, которой наша западная республика достигла после долгих лет кровопролития...”

Речь, конечно, о гражданской войне между Севером и Югом, 150-летие начала которой в США уже начали отмечать (причём весьма торжественно) в этом же, столь богатом на памятные даты 2011 году и на ход и исход которой заметно повлияло тогда прибытие русских военных кораблей к американским берегам, предотвратившее вмешательство Англии и Франции на стороне южан. За полтора столетия, конечно, столь многое изменилось в русско-американских отношениях, что в наши дни сама искренность речи Фокса может вызывать сомнения, а напоминание главой американской парламентской делегации о гражданской войне — побудить умы скептические и практичные к тому, чтобы за столь горячим откликом Конгресса на выстрел у Летнего сада поискать мотивы сугубо прагматические. Например, желание укрепить союз с Российской империей, место которой “в концерте великих держав” к середине позапрошлого столетия было уже общепризнанным, более значитель-

ным и весомым, нежели место начинавших своё восхождение Соединённых Штатов. Однако если такие соображения и присутствовали за действиями Конгресса, как, несомненно, прагматические мотивы присутствовали и в решении русской монархии поддержать заокеанскую демократию, то вряд ли они были решающими.

И всё же так упрощённо картина тогдашних событий может видеться лишь на расстоянии миновавших с тех пор лет и в свете резко изменившихся с той поры отношений между двумя державами, а события должны оцениваться в целостном контексте их эпохи. И что до России, то хотя сегодня само решение русского правительства поддержать “янки”, заметно поспособствовавшее укреплению грядущей державы-соперницы, может показаться ошибкой, вряд ли можно представить себе, чтобы она, только что совершившая великое дело освобождения крепостных, могла поддержать – даже одной только пассивностью – рабовладельцев, не взорвав изнутри самой себя. К тому же Англия и Франция в то время были настроены по отношению к России гораздо более враждебно, нежели Соединённые Штаты, где уже укрепившийся в Европе и приобретший характер не подвергаемой сомнению догмы взгляд на Россию как на “жандарма”, душительницу всех и всяческих свобод, вовсе не был доминирующим. Ему противостояла довольно сильная русофильская тенденция, которую прибытие русских кораблей только укрепило. Чему немало поспособствовал сам Линкольн, обратившийся тогда с личной просьбой прочитать серию лекций по русской тематике к известному американскому дипломату и русофилу Б. Тейлору и завещавший американцам хранить традицию дружественного сотрудничества с Россией как благотворную для самих Соединённых Штатов.

Настроения эти оставались заметно выраженными (а по некоторым оценкам – даже преобладающими) в течение некоторого времени и после гибели президента, что, конечно, не могло не сказываться на внешнеполитическом курсе страны. Ибо, как отметила историк В. И. Журавлёва на международной конференции, посвящённой 200-летию со дня рождения Линкольна, “русифилы не разделяли идею перераспределения России, превращения её в объект миссии американцев по демократизации мира, не демонизировали её политический режим”, а скорее стремились постичь её, по выражению известной переводчицы русской классической литературы американки Изабеллы Хэпгуд, “зрением сердца” (Авраам Линкольн. Уроки истории и современность. М., 2010, с. 176).

Резкая перемена обозначилась к концу позапрошлого столетия, и произошла она не без заметных усилий со стороны наиболее радикальной части самого русского общества. Первым шагом в этом направлении можно скорее всего считать письмо ЦК партии “Народная воля” к американскому народу от 25 октября (6 ноября) 1880 года. Немалый вклад внёс также бывший народо-волец, писатель С. Степняк-Кравчинский во время своего пропагандистского турне по Штатам. Именно тогда и не без влияния его выступлений было основано Американское общество друзей русской свободы, чья идеология полностью порывала с традицией, восходящей к предыдущей эпохе. Нет сомнения в том, что для такого поворота существовали и внутренние причины в самой Америке, однако невозможно отрицать, что образ нашей страны как “империи зла”, к концу XX века превратившийся в главный фокус американского восприятия России, взращивался и выхаживался не без больших стараний со стороны определённых сил внутри неё самой. И нетрудно заметить сходство этой тактики с той, к которой в начале минувшего столетия так охотно прибегло большевистское руководство, а в конце его обратились советские диссиденты.

Однако в середине 60-х годов XIX века вряд ли даже и сами русские могли предвидеть, как укоренится в нашей национальной психологии это низменное, недостойное любого народа искушение искать поддержки “за кордоном”, не брезгая союзами даже с самыми откровенными врагами собственного отечества и буквально призывая “мавров на Испанию родную”.

Тем более не могли предполагать ничего подобного члены американской делегации, чья память спустя лишь год после окончания братоубийства ещё обильно кровоточила. И то, что императору Александру удалось совершить сходное дело освобождения рабов, избежав гражданской войны, не могло не представляться им почти чудом. Чудом, так и не оценённым самой Россией, но очевидным для американцев, всего лишь год назад потрясённым ещё одним событием, которое почти совпало с окончанием войны и при воспомина-

нии о котором разделяемая с русскими радость не могла не смешиваться с острой болью. Этой боли и не пытался скрыть Фокс, продолжая свою речь, — он говорил так, как говорят, будучи и впрямь уверенными во взаимопонимании “на уровне сердца”: “Опасность, от которой благодать Провидения предохранила ваше величество, вызывает воспоминание глубокой скорби, преисполнившей столь недавно все прямодушные сердца в нашем отечестве, во время внезапной гибели нашего главы, нашего руководителя и отца. Мы благодарим Бога, что подобный удар был отвращён от наших друзей и союзников, от русского народа”.

Речь шла, конечно, об Аврааме Линкольне, и американцам, поставившим в один почётный ряд эти два имени (и по сей день остающимися единственными, кто сделал это), надо думать, представлялось естественным заключить, что посягнуть на жизнь освободителя рабов могли только упомянутые Конгрессом “враги освобождения”.

Но многие ли в самой России догадывались тогда о том, каким окажется конец пути императора Александра II? О том, что его ждёт не классически ясная (“великолепная”, по выражению Герцена) смерть, которой пал Линкольн, но что ему доведётся претерпеть не только мученичество, но и поругание? И о том, что гибельный удар будет нанесён из сумрачного подполья, где в противоестественный клубок сплелись спецслужбы и террористы?

Вот ведь даже опытейший вице-канцлер А. М. Горчаков на прощальном обеде в честь американских гостей, устроенном в петербургском Английском собрании, счёл нужным деликатно указать им на допущенную Конгрессом неточность: в России, заметил он, нет “врагов эмансипации”, а “безумец, совершивший преступление, нисколько не солидарен с дворянством”, которое, по словам князя, с не меньшим восторгом, нежели бывшие крепостные, приветствовало освобождение. Глядя из нашего времени, трудно, конечно, судить, насколько сам Горчаков верил в версию индивидуального безумия и зачем золотил пилюлю, настаивая на единодушном восторге дворянства по поводу отмены крепостного права. Ведь он уже по самому своему статусу не мог не знать, например, о том одобрении, с каким Александр ещё в 1855 году отнёсся к составленной известным общественным деятелем умеренно либерального толка К. Кавелиным “Записке об освобождении крестьян в России”, в которой тот предлагал освобождение крестьян с землёй посредством выкупа её государством. И о том, что вскоре после этого автор “Записки” был приглашён стать воспитателем наследника престола Николая. Если же реформа не была проведена в такой исключительно благоприятной для крестьянства форме, то не потому ли, что устремления монарха натолкнулись на глухую стену непонимания и сопротивления со стороны немалой, если не большей части дворян? По крайней мере, сам Кавелин позже напишет: “Вспомните поучительный факт, что в вопросе об освобождении крестьян высшее правительство стало с самого начала на гораздо более либеральную, верную и патристическую точку зрения, чем вся масса дворянства... Ведь государь был совершенно прав, когда сказал московскому дворянству, а в его лице и всему русскому: “Я опередил вас на пятьдесят лет”...” (Кавелин К. Д. Наш умственный строй: статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989, с. 441)

Не мог не замечать Горчаков и другого: того, как заметно тяжелела вся общественная атмосфера в России и как с пришествием “новых людей”, разnochинцев-нигилистов, в прошлое уходила и уже даже выставлялась на посмеяние та эпоха идеалистических упований, в духе которой воспитывал своего питомца В. А. Жуковский. Царь, готовый осуществить то “мание”, о котором мечтал Пушкин, и страна трагически разминутись во времени, и настроения сгущались совсем иные. О чём красноречиво говорило уже то холодное равнодушие, чтобы не сказать жестокость, с которым русское просвещённое общество встретило постигшее царскую семью несчастье: безвременную кончину наследника престола Николая Александровича, почти совпавшую с гибелью Линкольна. В равнодушии этом Герцен даже увидел знамение приближающегося конца династии, а цензор А. В. Никитенко записал в своём знаменитом дневнике: “Официальные соболезнования по поводу кончины наследника просто померкли перед выражениями скорби, вызванной убийством великого гражданина”.

Но почему, собственно, одно должно было вытеснять другое? Ведь и полученное цесаревичем Николаем воспитание, и уже обнаруженные им личные

качества позволяли ожидать в нём достойного продолжателя начатого отцом дела. Однако как раз сходство этого дела с тем, которое совершил Линкольн, на чём так горячо настаивали американцы, Россия предпочла не заметить, и её равнодушие к смерти наследника, конечно же, прежде всего адресовалось отцу. Было своего рода предвестием того нездорового азарта, с которым страна будет затем наблюдать, как покушение следует за покушением, куда не наступит финал.

“Освободить одним росчерком своего пера миллионы рабов и, подобно затравленному зверю, погибнуть в центре собственной столицы – какая судьба!” – так откликнулся на убийство Александра II один иностранный дипломат, сумевший в одну фразу вместить весь трагизм этой судьбы. Столь сходной с судьбой Линкольна вначале их общего пути и столь разительно несхожей в конце. Ни стекающихся к траурному поезду толп, ни уитменовской “упавшей звезды” – ничего, хотя бы отдалённо напоминающего проводы Америкой того, кто сразу же – не формально, а по зову сердца и в нарушение всех республиканских канонов – был назван “отцом”. И даже Лев Толстой, этот сверхчуткий барометр общественных настроений, не был, по его собственным словам, особенно впечатлён убийством царя-освободителя. А будь иначе – иной, как знать, могла бы оказаться и судьба его обращения к новому монарху, иным, более близким по духу к наследию отца могло бы стать и само царствование Александра III.

Но летом 1866 года до рокового в истории России 1 марта оставалось ещё 15 лет, контуры грядущих событий почти или вовсе не просматривались, и Горчаков, не задержавшись на вопросе о “врагах освобождения”, главный пафос своей речи сосредоточил на другом – на той особой близости, которая в 60-х годах XIX века на краткий срок соединила два столь удалённых – не только географически – друг от друга народа. Ощущение её было разлито в воздухе, так что, возможно, прибывший тогда же в Петербург новый посол США С. Камерон не был уж вовсе неискренним, когда заявил по прибытии в русскую столицу: “Россия и США две единственные великие державы на свете, дружбе которых никогда не может повредить столкновение интересов” (С. Семанов. А. М. Горчаков. Русский дипломат XIX в. М., 1962, с. 68).

Горчаков же, друг Пушкина, тот самый, “кому последний день Лицея торжествовать придётся одному”, почтив память Линкольна, на языке скорее поэзии, нежели политики и дипломатии, запечатлел мгновение беспримесной чистоты и открытости взаимных чувств, пережитое участниками прощальной встречи в Английском собрании. “Когда наши американские друзья возвращаются домой, – напутствовал он, – я желаю, чтобы они сохранили те самые чувства, что оставляют нам; пусть передадут они своим соотечественникам, что великий народ никогда не забудет, что в истории двух стран была минута, когда мы и наши американские друзья жили одной жизнью, когда они разделяли и наши тревоги, и нашу радость”.

От этих слов исходит отдалённое веяние “садов Лицея”, с их романтическим культом бескорыстной дружбы, свободы и высокого служения, и сегодня, читая их, можно скептически усмехнуться, на худой конец, недоумённо пожать плечами: “А при чём здесь американцы?” И в самом деле, в нынешней Америке, стремящейся перевоспитать весь мир “Томагавками”, трудно опознать наследницу того удивительного, никогда более не повторившегося вечера в Северной Пальмире, на который ещё ложился закатный свет пушкинской эпохи. Однако будем честны перед собой: разве можно и в нынешней России опознать преемницу пушкинских идеалов? Но сто пятьдесят лет назад, пожалуй, только на таком языке, исполненном чистосердечной исповедальности и пафоса, могло найти выражение то общее, что на краткий срок – по историческим меркам, действительно на “минуту”, – связав Россию и США своеобразным духовным соратничеством, предопределило их совершенно особое место в многотрудной борьбе человечества за преодоление рабства. Именно в этих двух странах, причём совершенно независимо друг от друга, уже близившийся к завершению – по крайней мере, в пределах христианской ойкумены – процесс юридического запрещения рабовладения был поднят на уровень исполнения высшего долга, получил необыкновенно яркую нравственную и даже религиозную окраску.

Религиозную, конечно, не в сугубо церковном значении этого слова, чего в Америке не могло быть уже в силу особенностей устройства её религиозной

жизни, не требовавшего единого центра. В России такой центр существовал, им была строго иерархически организованная и веками слитая с жизнью страны православная церковь, которая, конечно, по своему потенциалу могла бы взять на себя роль духовного руководителя народа на его пути к освобождению. Могла бы – но, как уже на закате монархии, в 1906 году, писал священник В. Рюминский, за “все тяжкие, долгие годы крепостного права” она ни разу не возвысила своего голоса против него, не заговорила с амвона о том, что “стыдно, противно Христову учению – порабощение одних людей другими”.

Эта ясная и евангельски простая мысль о связи собственного человеческого достоинства со свободой другого человека, в Соединённых Штатах наиболее полное и совершенное выражение нашла в аболиционизме – самом, наверное, благородном и чистом движении, которое когда-либо породила эта страна. И вот парадокс: охватывая, в основном, социальный слой (фермеров, провинциальных врачей, учителей, мастеровых, литераторов, бродячих проповедников), схожий с тем, который в России было принято именовать разночинцами, аболиционизм по основному строю мыслей и чувств этих людей, по самой их манере выражать свои мысли и чувства был гораздо ближе к русским идеалистам 20–30-годов, нежели к разночинцам-нигилистам 60–70-х. Ближе, можно сказать, к Степану Трофимовичу, нежели к Петру Степановичу Верховенскому. С той разницей, конечно, что здесь идеализм вовсе не был помехой социальной действительности, а чувствительность могла сочетаться с суровым библейским пафосом обличения греха – таким, как в предсмертных словах знаменитого Джона Брауна, белого фермера из Канзаса, возглавившего одно из крупнейших восстаний рабов и в 1859 году повешенного в Чарльстоне: “Я теперь совершенно уверен, что только кровь может смыть преступление этой греховной страны”. Два года спустя началась Гражданская война.

В среде аболиционистов родилась и выросла дочь пастора Г. Бичер-Стоу, чья в своё время потрясая не только Америку, но и Европу и Россию “Хижина дяди Тома”, теперь интересующая в основном литературоведов, была исполнена чувства, приоритетность которого во всей цепи событий обозначил сам Линкольн при первой встрече с писательницей: “Так вот та маленькая женщина, которая развязала такую большую войну!”

В России, с исключительной в ней ролью светской культуры в осознании нравственной нестерпимости крепостного права, сходное чувство, “жгучее, святое беспокойство” (Некрасов) за участь униженных, обесправленных, попранных и порабощённых впервые выразило себя голосом Радищева: “Я взглянул окрест меня...” Теме более чем на полвека предстояло стать осевой в русской литературе, и под пером Тургенева или Григоровича вопрос о крепостном праве всё очевиднее разворачивался в вопрос о судьбе самой России. На свой лад уловило эту связь и III Отделение, которое, будучи, конечно, мало озабоченным нравственной стороной вопроса и страданиями какого-то там “Антон-горемыки”, однако по долгу службы отслеживая то, что могло угрожать безопасности державы, в 1839 году, когда крестьянские волнения охватили двенадцать губерний, отметило в своём отчёте, что “крепостное состояние есть пороховой погреб над государством”.

Вряд ли можно сомневаться, что опасность подобного положения дел осознавал сам Николай I, как и его предшественники осознавали губительность для державы той части петровского наследия, о которой нелюбезно высказался даже и такой почитатель царя-плотника, как Пушкин: “История представляет около его всеобщее рабство”. Необходимейшим условием преодоления его “умнейший муж России” там же, в “Заметках по истории XVIII века”, назвал именно освобождение крестьян. Конечно, это понимали и монархи – понимали, но всё-таки, опасаясь смуты, медлили, откладывали решение, вся непомерная тяжесть которого легла в конце концов на царя Александра Николаевича, нашего в себе мужество принять вызов истории. Потомкам остаётся только гадать, что побудило именно его к столь решительному шагу, но в ряду многочисленных, выдвинутых в этой связи версий мне самой неубедительной и даже ущербной представляется как раз самая расхожая из них, согласно которой определяющая роль принадлежала поражению России в Крымской войне. Сделавшему сверхактуальной “модернизацию России” – именно так, подтягивая сюжет к злобе дня, высказались в дни 150-летия отмены крепостного права некоторые из тех немногих, кто не счёл возможным вообще замолчать эту дату.

Ясно, что при таком, сугубо прагматическом, чтобы не сказать конъюнктурном, подходе полностью отпадает за ненадобностью вся нравственно-религиозная сторона вопроса, всё, связанное со “страданиями человеческими” и чувствами уязвляемой ими души. А потому сказать, что подобная картина являет нам всю полноту истины — значит сильно погрешить против истины. Ведь об опасности крепостного состояния народа для самой российской государственности, об угрозе взрыва того самого “порохового погреба”, с гораздо большей силой, нежели тягостное, но отнюдь не смертельное для страны поражение в Крыму, давно свидетельствовали многочисленные крестьянские бунты и прежде всего наиболее грозный из них — Пугачёвский. Однако ни Екатерина II, ни её внук Александр I так и не переступили черту. Как не переступил её и Николай I, не сумевший разглядеть в восстании декабристов не только мятеж, но проявление назревающего в стране — теперь уже и в самых высоких социальных слоях — отторжения рабства.

Не следует к тому же забывать, что наследник Николая вступил на престол уже вполне зрелым, сложившимся человеком, вряд ли склонным принимать одномоментные решения по столь важной и сложной проблеме. И коль скоро он тотчас же по коронованию заявил о своём твёрдом намерении покончить с “крепостным состоянием народа”, мы вправе заключить, что он уже шёл к трону с этой своей “королевской идеей” (Ибсен) и что она давно вызревала в его душе. В этом он опережал своего великого заокеанского современника, чьей “королевской идеей” на первых порах стало сохранение целостности страны, поставленной под угрозу отложением южных штатов. О чём сам Линкольн и заявил в инаугурационном обращении к нации, прямо и чётко обозначив в нём свои приоритеты: “Я считаю, что в соответствии с всеобщим законом и Конституцией Союз наших штатов вечен... На основании закона никакой штат не может выйти из Союза”. И далее: “Я не имею ни прямого, ни косвенного намерения нарушать установления рабовладения в тех штатах, где оно существует. Я считаю, что закон не предоставляет право сделать это, да и желания такого у меня нет”. (Цит. по: Р. Ф. Иванов. Авраам Линкольн и гражданская война в США. М., “Наука”, 1964, с. 190. Курсив мой. — К. М.) Тогда же вступивший в должность президент заверил, что закон о выдаче беглых рабов будет неукоснительно соблюдаться, и это вскоре было подтверждено делом: так, в апреле 1861 года (т. е. уже после того, как Манифест 19 февраля был оглашён по всем российским губерниям) состоялась выдача рабов их владельцам, притом — в Спрингфилде, неподалеку от резиденции самого Линкольна. Выдачи продолжались и впредь, вызывая растущее негодование абolicционистов, но отнюдь не склоняя к уступчивости мятежные южные штаты. И тогда Рубикон был перейдён и американским президентом: 1 января 1863 года силу закона, несмотря на упорное сопротивление части Конгресса, получила Прокламация об освобождении рабов.

Такова была последовательность событий в США, что нисколько, однако, не помешало русскому просвещённому обществу уже в середине 60-х годов лучшие порывы своего сердца направлять за океан, одновременно всё более едко и жестоко глумясь над царём Александром и ославляя его “тираном”. В вину ему беспощадно вменялось всё то, что прощалось Линкольну и что во многом было тягостным следствием чудовищной сложности проблемы, ответственность за решение которой мужественно приняли на себя оба лидера. Это и жёсткость в отстаивании целостности раскачиваемого внутренними противоречиями государства (так, в 1862 году Конгрессом была введена смертная казнь за измену Соединённым Штатам, о чём в России говорили гораздо меньше, нежели о подавлении польского восстания 1863 года), и неизбежные несовершенства реального процесса освобождения (главным из которых стало освобождение американских рабов, как и русских крепостных, без земли), и последовавший за ним грубый натиск нахрапистого и хищного капитализма, что в России было названо пришествием “Чумазого”, а в США — наступлением “позолоченного века” (Марк Твен). Всё это и ещё многое другое, к чести американского народа, не смогло заслонить в его глазах величие совершённого дела, а само имя Линкольна было навсегда золотыми буквами вписано в историю его страны.

Иначе случилось в России, и откровенная пристрастность, кричащая несправедливость тех оценок, которые именуемая “передовой” часть русской общественности выносила сходным действиям двух лидеров, превознося од-

ного из них и растапывая другого, заставляет вспомнить горестные слова К. Кавелина: “Это так называемая интеллигенция постаралась испортить эмансипацию, насколько в эту минуту могла, не возбуждая против себя слыхом большого негодования народа”. К сожалению, в исторической перспективе хорошо видно, что испорчена была не одна только “эта минута”. И что беспримерная травля царя-освободителя нанесла русскому общественно-политическому сознанию до сих пор не исцелённую – а возможно, и вообще уже неисцелимую – травму, ознаменовав окончательный разрыв революционно-демократической России с пушкинской традицией, с доминировавшим в ней стремлением соединить в неразъёмное целое идеал свободы, твёрдую державность и глубокое национальное чувство. В последний раз она, на мой взгляд, нашла своего выразителя в лице Некрасова, для которого воспеть наконец-то обрётённую личную свободу вчерашнего раба и Русь было так же естественно, как дышать. Но на вершинах власти пушкинская “триада” никогда более не получила такого полного воплощения, как в личности и деятельности Александра II.

У меня не вызывает сомнений, что значение именно этой стороны его царствования понимали и те, кто буквально за несколько месяцев до взрыва на Екатерининском канале направили в Америку позорное письмо, являвшее собой откровенный призыв к заокеанской общественности озаботиться, наконец, и участью *русских рабов*, томящихся под игмом тирании. Разумеется, никто при этом не спрашивал у массы русского народа согласия на подобное наделение заокеанской державы статусом арбитра в вопросе о свободах и правах человека в нашей стране, собственный вклад которой в борьбу за эти права и свободы так высоко оценили сами американцы в те дни, когда “Миатаномо” пришвартовался в Кронштадте. Задача же авторов письма как раз и состояла в том, чтобы эту оценку и в самой России, и за её пределами радикально изменить, для чего мало было убить тело императора – ещё важнее было обесславить и обесчестить главное дело его жизни, исказив (перекодировав, как сказали бы сегодня) самую память о нём. Что в значительной степени и удалось.

* * *

Посмертная участь царя-освободителя оказалась едва ли не более жестокой, нежели сама его смерть. За прошедшие со дня подписания Манифеста 150 лет ни разу, по причинам самого разного свойства, не был полноценно отмечен юбилей этого события. 25-летие запретил праздновать Александр III, и лично я не берусь ни обсуждать, ни тем более осуждать это решение. 50-летие пришлось на последние годы жизни Империи, разрываемой настроениями, столкновение которых могло бы оскорбить саму память человека, сумевшего в своё время, разрубая Гордиев узел (“цепь великую”), не допустить гражданской войны.

Решающее значение приобретало, конечно, 100-летие. Но это – 1961 год, а никакая многократно воспетая “оттепель” ничуть не поколебала прочно утвердившуюся к тому времени в советской историографии оценку и Крестьянской реформы, и самой личности царя-освободителя. Вот, например, как почтила его память Советская Историческая Энциклопедия как раз в юбилейный год: “Понимая необходимость уступок, хитрый и лицемерный Александр II не без успеха разыгрывал либерала. В 1856 году, в частности, по случаю коронации он дал амнистию декабристам, хотя всю жизнь был сторонником беспощадных репрессий против революционеров” – и далее всё в том же роде, по грубому и жёсткому канону, на самой заре советской эпохи созданному Лениным и не подлежащему ни критическому обсуждению, ни тем более пересмотру. Равным образом, именно Ленин, в своём знаменитом “Письме к американским рабочим”, перенёс в новую эпоху глубоко пристрастный “революционно-демократический” взгляд на Линкольна, теперь ещё более возвышенного над окончательно низвергнутым Александром II. Однако “Письмо” это, написанное в августе 1918 года и призывавшее американских рабочих подняться на “гражданскую войну против буржуазии”, так настойчиво педалировало дорожку для Ленина связь между подлинностью социалистических убеждений и готовностью, в подтверждение её, пожертвовать даже “частью

территорий” своих отечеств, что, полагаю, уже и тогда не могло не вызывать недоумения и даже негодования в связи с привязыванием имени Линкольна к подобной программе. Ведь он-то решился на гражданскую войну как раз во имя сохранения целостности страны, и нет никаких оснований считать, что такая, едва ли не самая страшная для любого народа война когда-либо могла сама по себе быть для него той желанной целью, к достижению которой открыто стремился Ленин – по крайней мере, с августа 1914 года.

Об этой несообразности в более поздние советские годы, с восстановлением и укреплением естественного чувства драгоценности собственного Отечества, предпочитали не вспоминать. Но общая схема, в которую укладывались все оценки деятельности Александра II и Авраама Линкольна, оставалась неизменной, вследствие чего сама отмена крепостного права начинала представляться какой-то тусклой и не слишком достойной страницей русской истории, такой, которую торопят перевернуть, едва скользя по ней взглядом. 150-летний юбилей приобретает поэтому совершенно исключительное значение, а сама удалённость события и появившаяся возможность высказать разные, но непременно взвешенные и аргументированные взгляды на него позволяли надеяться, что 19 февраля 1861 года займёт, наконец, подобающее ему место в нашей общенациональной памяти. Этого, однако, не произошло. И сказать, что юбилей был отмечен, по выражению одного из журналистов, “без помпы” – значит ничего не сказать.

На официальном уровне его почти полностью затмило пришедшее как раз на те же дни 80-летие Горбачёва, и демонстрация как раз накануне 3 марта (то есть 19 февраля, по старому стилю) посвящённого генсеку-президенту фильма под не претендующим на скромность названием “Он пришёл дать нам волю”, не требует комментариев. А та часть высочайшего внимания, которая всё-таки осталась на долю Манифеста, оказалась сосредоточенной, в основном, отнюдь не на освобождении крестьян, а на пресловутой модернизации и проведении льстивых аналогий между императором Александром Николаевичем и нынешним президентом РФ Дмитрием Анатольевичем, с осторожным склонением чаши весов в пользу последнего. Впрочем, в речи В. Зорькина, не преминувшего добавить в и без того скудный мёд юбилейных торжеств ритуальную ложку дёгтя, царь-освободитель вообще предстал историческим неудачником, на отрицательном примере которого можно разве что поучиться. “Сегодня, когда страна вновь стоит перед острой необходимостью ускоренной модернизации, – заявил 3 марта в Петербурге председатель Конституционного суда РФ на конференции, посвящённой 150-летию отмены крепостного права в России, – нам особенно важно понять причины провала освободительных реформ XIX века” (“Независимая газет” 4–5 марта 2011 года. Курсив мой. – К. М.).

Думаю, что когда через два года в США будет отмечаться такой же, 150-летний юбилей отмены рабства, говорить станут не о модернизации и уж, конечно, не о “провале”, но прежде всего о грандиозном торжестве великой идеи свободы для всех. Так, в сущности, оно и было, несмотря на все, сходные с Россией, несовершенства и незавершённости дела. Не вина Линкольна в том, какое дальнейшее употребление получила эта идея и достижение каких целей прикрывается её именем. Несмотря ни на что, она остаётся великой и всегда будет востребована человечеством – и, судя по некоторым признакам, в не самом далёком будущем востребована в её классической, а вовсе не затуманенной и искажённой неолиберальной форме. Именно в той форме, в какой она была мучительно выстрадана самой Россией, и как жаль, что в дни юбилея почти никто так и не вспомнил о самой сути, о главном, человеческом смысле отмечаемого события.

В сущности, не вспомнила о нём, а если вспомнила, то вскользь, та часть общественности, которую, на нашем сумбурном политическом лексиконе, принято именовать патриотической. Так, внимательно просмотрев устойчиво популярную у немалой части населения “Советскую Россию” за 3 марта, я не нашла никаких упоминаний о знаменательной дате, зато первая же страница гласила: “Хор Пятницкого отмечает юбилей”. У меня нет ни малейших сомнений, что хор Пятницкого достоин всяческого внимания и уважения, но всё-таки – в подобном умолчании о другом юбилее есть нечто настолько вызывающее и нарочитое, что мне трудно объяснить его иначе, нежели упорным нежеланием наших левых выйти за пределы ленинской схемы событий середины XIX века.

На свой лад, зеркально, повторили ту же позицию неприятия Александровских реформ и, в том числе, главной из них — Крестьянской, традиционные русские правые, с той разницей, что опираются они при этом не на Ленина, а на Победоносцева. Извращения, которым подверглась в современном неолиберализме идея свобод и прав человека, ещё больше укрепили здесь давнюю неприязнь к императору — реформатору и устойчивое представление о том, что подобные идеалы вообще глубоко чужды русской, тем более же русской православной традиции. С такими утверждениями в последнее время порою выступают и священнослужители. Но вот один из героев лесковских “Соборян”, представляющий как раз ту народную, глубинную Россию, которую так хорошо знал писатель, старгородский протоиерей Савелий Туберозов мыслил иначе, настаивая на том, что “и первоверховный Павел протестовал против попрания прав его гражданства”. В самом деле, “Деяния” донесли до нас, как твёрд был апостол Павел в отстаивании своих прав и достоинств римского гражданина, и этих евангельских рассказов не могла не знать паства, глубоко почитавшая своего, за неуёмное правдоискательство в конце концов подвергшегося суровой опале пастыря. А стало быть, она находила в его “крамольных” речах что-то глубоко созвучное собственным чаяниям.

Не иначе мыслили и крепостные крестьяне, которые сразу же по вступлении Екатерины II на престол “начали целыми сёлами подавать императрице просьбы уже прямо об освобождении от помещиков и на увещевания властей упрямо отвечали, что оставаться у помещиков в послушании не хотят. Это показалось тревожным признаком, и Сенату предписано было придумать против этого благопристойные средства. Сенат придумал только два: указом воспретил крепостным жаловаться на своих господ, а челобитчиков о свободе велел публично наказывать плетьюми. Были случаи и кровавой расправы с помещиками... В селе становилось душно и жутко” (В. О. Ключевский. Курс русской истории. М., 1989. Том V, с. 83–84).

“Душно и жутко” — это уже предвестие пугачёвщины. И всё-таки “челобитчики о свободе” ждали ещё без малого десять лет, надеясь, что власти всё-таки дадут им ответ на языке не плетей, но закона.

Да, к несчастью для России, отмена крепостного права запоздала на целое столетие, и за этот срок многое в народной душе перегорело и изменилось. Но ведь и цари не могут выбирать, когда им появиться на свет. И всё-таки 1861 год стал в нашей истории рубежом, преобразившим само мироощущение русского человека, у которого словно открылось новое зрение и которому иным, в ясном свете свободы, видится даже привычный ландшафт:

*Родина — мать! По равнинам твоим
Я не ездил ещё с чувством таким...*

Этот Некрасовский гимн свободе, написанный именно в 1861 году, обычно цитируется в сильно усечённом виде, так было и в дни юбилея. Приводятся только две строки (“Знаю: на место цепей крепостных / люди придумали много иных”), без следующего за ними продолжения, оно же и заключение, что совершенно искажает смысл и даже саму определяющую интонацию всего стихотворения, делая её скептической и циничной. Однако всё изменяется, если прочесть весь гимн целиком, но особенно — как раз две заключительные строки, подобно торжественному удару колокола возвещающие — несмотря на все изъязны совершившегося, которые отчётливо видит трезвый ум, — великий праздник:

*Так! Но распутать их легче народу.
Муза! С надеждой приветствуй свободу.*

Некрасовская муза, по его собственным словам, чаще всего являлась ему “в образе породистой русской крестьянки, в каком обрисована в поэме “Мороз Красный Нос”...”, и, стало быть, к ней, к “Дарье”, он прежде всего и обращался с радостной вестью, будучи уверен в созвучном отклике.

В юбилейные дни не раз цитировались слова чеховского Фирса о “воле-несчастье”, как если бы этим только и исчерпывалось “мнение народное” об освобождении. Наверное, для кого-то, и не только для одного Фирса, это и было так: разные люди, разные судьбы, для дворовых — не по их вине не приученных к крестьянскому труду — нередко и печальные. Но кто возьмёт на

себя смелость говорить за миллионы? Тем более что опросов общественного мнения в позапрошлом столетии не проводилось, а они и в нынешнем далеко не всегда дают исчерпывающую картину. И всё-таки есть немало оснований думать, что освобождение оставило в народной памяти след более глубокий, нежели принято считать теперь. След, который высветился уже много лет спустя после того, как миновали все очарования и разочарования, так бурно клубившиеся вокруг 19 февраля.

Одно из них, исключительное в своём роде, приводит священник Геннадий Беловолов, которому в 1990 году довелось поработать в архиве “Старого Валаама”, ныне хранящемся в монастыре Нового Валаама в Финляндии. Речь об относящихся к началу минувшего столетия записках безымянного монаха, на страницах которых царь-освободитель (именуемый Мучеником) является в лике святого. Между тем на официальном церковном уровне вопрос о канонизации Александра II никогда не ставился, и, стало быть, так увидеть его можно было только по искреннему внутреннему чувству – возможно, не только своему собственному.

Ведь через великие северные монастыри России текла могучая река духовной жизни народа, и там о его потаенных мыслях и чувствах знали, наверное, не меньше, а возможно, и больше, нежели в шумных столичных кружках. Во всяком случае, в образе царя, каким он запечатлён в этих записках, автор которых, скорее всего, и не собирался предавать их широкой огласке, ярко обозначена всего только одна черта, но какая! Отброшено всё суетное, случайное, преходящее и несовершенное – оставлено одно: “Когда он предстал Господу Богу, Господь сказал ему: “Никто любви больше не имат, как тот, кто положит душу свою за други своя”. А он эту (заповедь) соблюд...”

Стало быть, кем-то же это, более всего соответствующее народным представлениям о праведности, сто лет назад ещё помнилось. Но, возможно, сегодня у православной России, не заметившей памятной даты, другое мерило.

Что ж, юбилеи, которые мы отмечаем, не меньше, нежели о юбилеях, говорят о нас самих. Потому что юбилей, как то отметил историк С. Соловьёв в преддверии празднования 200-летия рождения Петра Великого, в прямую обязанность “образованному обществу” вменяет осознать своё отношение к отмечаемому событию и “оценить его значение для настоящего и будущего”. Судя по тишине в патриотическом лагере, никакого такого значения в 150-летию отмены крепостного права здесь не заметили, и не будет большим преувеличением сказать, что с этой стороны в “зеркале юбилея” отразилась пустота.

Чего не скажешь о лагере противоположном, по не вполне ясным причинам именуемом у нас демократическим. Справедливость требует признать, что только отсюда событие было названо великим, и это, конечно, можно было бы приветствовать, и даже воскликнуть “Ты победил, Галилеянин!”, когда бы одновременно столь же великим не было названо ещё одно, в отечественной истории случившееся ровно за 99 лет и один день до отмены крепостного права. До сих пор, на протяжении без малого 200 лет пребывавшее в той тени, куда человеческая память обычно оттесняет постыдные воспоминания, оно внезапно – и как раз в юбилейные дни – было извлечено на свет и едва ли не увенчано лаврами. Что, конечно, имеет значение символическое и позволяет по достоинству оценить то, что отразилось в зеркале с этой стороны.

Речь о знаменитом Указе о вольности дворянской, которым Пётр III 18 февраля 1762 года освободил дворянство от обязательной службы, при этом оставив за ним ещё больше укрепившееся право владеть крепостными душами. Понятно, что в высшем сословии новое установление вызвало бурю восторгов, живописную картину которых оставил нам такой известный в XVIII столетии человек, как А. Болотов: “Не могу изобразить, какое неописанное удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян нашего любезного отечества; все буквально вспрыгались от радости, и благодаря государя, благословляли ту минуту, в которую ему было угодно подписать сей указ”. Приведя это столь выразительное описание, Ключевский продолжает: “А один из поэтов того времени, дворянин Ржевский, написал по этому случаю оду, в которой говорил про императора, что «он России вольность дал и дал ей благоденство»” (В. О. Ключевский, соч. цит. Т. IV, с. 300).

Надо думать, подобные изъявления счастья и подразумевал Пушкин, напоминая об Указах, “коими предки наши столько гордились и коих справедливее было бы стыдиться”.

Как видим, исчерпывающая нравственная оценка событию, теперь возводимому в ранг великого, была дана задолго до реформы 1861 года и стала общепринятой ещё в бытность монархии.

А чудовищные последствия его для всей державы в полной мере явил Пугачёвский бунт, потрясший самые основы государства и заставивший так весело подпрыгивавшее дворянство содрогнуться от ужаса. Сегодня, с произошедшей у нас переменой взглядов на всё и вся, в бунте этом принято видеть именно и только одну сторону, не задаваясь вопросом: а мог ли он вообще не грянуть, коль скоро и без того невыносимо тягостное рабство лишилось даже подобия политического оправдания? Которым в России, как и во всех жёстко сословных обществах феодальной Европы, являлось только одно: разделение тягот, выполнение каждым сословием обязанностей, необходимых для обеспечения жизни целого. В противном случае крепостное состояние оборачивалось, по точному замечанию Ключевского, “следствием, лишившимся своей причины, фактом, отработанным историей”. Крестьяне поняли это раньше дворян и начали, как уже говорилось, с “челобитных о свободе”; буря же разразилась тогда, когда челобитчикам ответили плетьюми.

Такова была последовательность событий. Но страх пред пугачёвщиной, пред вышедшим из повиновения мужиком глубоко въелся в психику высшего сословия; и, конечно, пресловутый Указ несёт свою, и немалую, долю ответственности за то, что отмена крепостного права так запоздала в России. Однако на протяжении почти всего XIX века, не говоря уже о XX, пушкинская оценка его оставалась не подлежащей пересмотру. К тому же дворянство давно смыло позор своих радостных прыжков на полях многочисленных сражений, где “голубая” кровь густо смешалась с обычной красной, да и на ниве государственного служения тоже; а пышный расцвет русской культуры во второй половине позапрошлого столетия сделал очевидным, что рабское состояние большинства народа вовсе не является его неперемнным условием. А после отмены крепостного права вообще немислимой стала какая-либо реабилитация, не говоря уже об апологии, подобного понимания “вольности дворянской”. Наконец, на смягчение, вплоть до их упразднения, а вовсе не на ужесточение сословных различий указывал и основной вектор мировой истории, и хотя можно долго спорить, был ли какой-то другой вариант, кроме того, крайне жестокого (впрочем, не более жестокого, нежели во Франции), в котором такое упразднение произошло в России, сама неизбежность и даже необходимость его до сих пор не вызывала сомнений. И невозможно было предположить, что спустя 150 лет после Манифеста 19 февраля 1861 года, в России найдутся люди, готовые выдвинуть на первый план идеал *свободы прежде всего для избранных*. Однако именно это произошло в дни июля, когда давно, казалось, поросшая бильём тема 18 февраля 1762 года вдруг не только актуализировалась, но предстала в свете ещё небывалой славы.

Так, П. Спивак на страницах “Независимой газеты” (2 марта 2011), дав Указу весьма высокую оценку, посетовал лишь на некоторую его непоследовательность. Нет, не в том смысле, что, дав “вольную” дворянам, следовало тотчас же — как писал Ключевский, буквально на следующий день, т. е. 19 февраля, — освободить крестьян. А в том, что император не решился пойти до конца и обязал дворян всё-таки являться к месту службы в случае войны — ведь правильнее было бы, при таком понимании свободы, и эту обязанность целиком переложить на крепостных мужиков. Но самое полное развитие тема получила в лекциях академика Ю. Пивоварова, прочитанных им по каналу “Культура” (программа “Academia”). Именно им Указ в первой же лекции цитировался был поставлен вровень с Манифестом об освобождении крестьян. Ведь дворяне, по словам академика, тоже были в некотором роде крепостными, а при таком если не полном отождествлении, то уравнивании не могущего быть уравненным 19 февраля, разумеется, утрачивает своё исключительное значение и даже оказывается событием “в некотором роде” вторичным по отношению к 18 февраля. А коли так, то, рассуждая логически, Александр II должен уступить своё славное имя Освободителя Петру III; и хотя это, конечно, не было произнесено вслух, внимание, сосредоточенное Ю. Пивоваровым именно на “освобождении дворян”, само собой подталкивало к такому выводу. И даже не просто внимание, но искреннее чувство, вложенное профессором в описание радостей наконец-то обретенной владельцами крепост-

ных душ свободы – описание, яркие краски которого лично мне на ум привели незабвенную зарисовку А. Болотова.

Да и как не порадоваться за ближнего своего! Судите сами: раньше, уже в силу принадлежности своей к военно-служилому сословию, раб, теперь, будучи освобождён от тяжких государственных повинностей, вольный дворянин мог сам решать – служить ему или не служить, ехать за границу или оставаться в своём имении; а пребывая в имении, предаваться занятиям науками и искусствами или “пьянствовать и самодурствовать” (“Культура”, 16 февраля 2011). Даже при этом не утрачивая прав на “крещёную собственность” (Герцен). Ю. Пивоваров не находит это предосудительным – ведь, по его мнению, *правильный* путь к свободе начинается с предоставления её, притом с возможно меньшими ограничениями, меньшинству. Что до освобождённого в 1861 году большинства, то его радости или печали как-то мало привлекли внимание профессора – во всяком случае, на его палитре не нашлось красок, сравнимых по яркости с теми, которые нашлись для описания радостей 1762 года.

Впрочем, не нашлось их и для описания тягостей крепостного состояния народа, описанию которых так много крови сердца отдала русская литература. И неудивительно, что один из заданных после лекции вопросов прозвучал так: “А почему именно в 1861 году было отменено крепостное право? Почему не позже?” В своё время на устах у всей России был другой: “Почему не раньше?” Но в новой оптике, как раз в юбилейные дни представленной демократическим направлением нашей общественной мысли, когда-то бесспорная необходимость прежде всего нравственной оценки крепостного состояния, восприятия его прежде всего глазами несущего страшную тяжесть человека утратила своё значение. Как следствие, был разрушен и весь мощный духовный настрой, предуготовлявший освобождение крестьян, а потому практически мыслящей студентке оказалось естественным предположить, что целесообразнее было бы освободить попозже. А раз целесообразнее, то, стало быть, так и надо было сделать. А народ – народ подождёт, тем более что облик его, рисуемый иными демократическими перьями, давно пишется по одному и тому же шаблону, как вырезают лобзиком по дереву или вышивают по канве.

Это (речь, разумеется, о народе русском) по самой своей природе неспособный цивилизоваться “мужик”, самую цивилизацию люто ненавидящий и свободу понимающий исключительно как возможность её “раскурочить”. Именно данное словечко употребил С Баймухаметов (“Московская правда”, 3 марта 2011 года) в своей юбилейной – если её, конечно, можно так называть, – статье, в которой оказались хаотически перемешанными обличения Александра II за освобождение крестьян без земли, большевиков (как раз за то же самое навечно пригвоздивших царя-освободителя к позорному столбу), Горбачёва и Ельцина, свергших компартию, но главное и прежде всего – русского народа. Невежественного, исполненного грубых предрассудков и “слепой ненависти ко всем, отказавшимся от его диких привычек”, – неистовствует Баймухаметов, с вызовом опирающийся при этом на Чернышевского: вот, мол, кто вас ещё предупреждал об этом страшном звере, но “в советское время его слова скрыли от народа” – ну и так далее.

Что хотел сказать этим автор, не очень понятно, а что до Чернышевского, то, как всякий деятель такого масштаба, он противоречив. Однако в целом особенности революционно-демократического взгляда на народ давно известны, и о том, сколь много повредил революционный демократизм самому делу освобождения, достаточно сказано выше. Однако никогда ни революционные демократы, ни преемственные по отношению к ним большевики ленинской, западнической и даже русофобской складки, готовые безжалостно перedelывать этот народ по свои лекалам, не позволяли и не могли позволить себе выступить с идеологией вторичности его прав по отношению к правам элиты. Но именно это и происходит сегодня, а то, что подобный взгляд был с такой откровенностью заявлен по центральному телевидению именно в дни юбилея отмены крепостного права, придаёт ему характер не только частной, пусть и способной вызвать резкое отторжение, но имеющей право на существование точки зрения.

Я, конечно, далека от мысли, будто академик Пивоваров или другие авторы сходных суждений выполняют некий социальный заказ в том прямолинейном смысле, как это обычно понимается у нас, то есть как выполнение

спущенных откуда-то директив или пожеланий. Но если понимать такой заказ более широко и ближе к тому, чем он по сути своей и является, то есть как вызревающий в обществе в целом или в каких-то его группах спрос на определённую трактовку общезначимых исторических событий, имён и понятий, то вряд ли можно спорить с тем, что тенденция к утверждению особых прав элиты, избранных набирает силу во всём мире. Россия же не только не является исключением, но в некоторых отношениях уже лидирует. С той разницей, что если страны “золотого миллиарда”, навязывая свой диктат более слабым, внутри себя пока не допускают откровенного отката к, казалось, давно оставшемуся в прошлом прямому утверждению приоритетных прав привилегированного меньшинства, то в России дело обстоит ровным счётом наоборот.

Резко ослабевшая и уже заметно зависимая от внешних центров силы, она, если бы даже захотела, не может позволить себе того, что, перестав вообще оглядываться на “международное сообщество”, позволяют США и даже ЕС; однако внутри неё формируется собственный “третий мир”, куда отесняется преобладающая часть населения. Именно эта часть несёт на себе всё более тяжкое бремя общегосударственных тягот, в то время как внутренний “золотой миллиард” всё откровеннее освобождается от них. Об этом говорит и не имеющая аналогов в мире плоская налоговая шкала, и отсутствие, при бесстыдном размахе демонстрационного сверхпотребления, налога на роскошь, и практическое освобождение элиты от воинской повинности, полностью переложённой на неуспешные низы, и последние новации в области образования и здравоохранения – и всё это на фоне с невероятной быстротой вознесшейся пирамиды грубейшего имущественного неравенства (в мегаполисах, по некоторым оценкам, разрывы являются тридцати- или даже сорокакратными). Ничто не указывает на то, что положение в ближайшем будущем может измениться; напротив, слишком многое говорит о том, что расслоение будет только усугубляться, и назвать подобную социальную ситуацию устойчивой вряд ли возможно, не прибегая к сознательной лжи.

Понимают это, конечно, и успевшие занять “место наверху”, но совсем уж беззаботно “вспрыгаться от радости”, к чему вроде бы есть все основания, мешают им некоторые тени прошлого, да и проблемски иных настроений. Меня, во всяком случае, удивило, какое место в своих лекциях уделил Пивоваров рассказу об ужасах пугачёвщины – неужели это так актуально? Ведь призрак великого бунта давно, с исчезновением крестьянства, опочил, так для чего же его тревожить? Не для того ли, чтобы заранее демонизировать возможный массовый протест? Признаки его пока не просматриваются, но полной уверенности в том, что всё сильнее сжимаемая пружина не даст отдачу, нет. А потому вопрос и об идеологическом отмывании принимающего какой-то архаический облик неравенства, и о его политической легитимации может постучаться в нашу дверь гораздо скорее, нежели это представляется многим ещё сегодня. И я бы не стала исключать, что подобная легитимация осуществится в формах, весьма далёких от того, что до сих пор было принято называть демократией. Никакая технологическая модернизация сама по себе не может дать гарантий большинству от подобного поворота событий, как никогда и нигде она сама по себе не являлась гарантией преодоления неравенства. Напротив, она, как то ярко показала нацистская Германия, в пределе может сочетаться с самыми жёсткими формами подавления большинства, вплоть до прямого рабства.

Разумеется, ничто не повторяется буквально, но “крот истории” уже почти не таясь роет в этом направлении. Вызов так или иначе придётся принять, и в такой перспективе мало замеченный страной юбилей обретает значение, ещё невообразимое 20 лет назад. Оценить по достоинству некогда содеянное ею самой, то своё слово о свободе и правах человека, которое, с достоинством и окружённая восхищением, она представляла в те так далеко отошедшие от нас петербургские вечера, с которых был начат рассказ, Россия нынешняя не сумела. Сумеет ли, когда со дня великого события минет 200 лет, или по-прежнему будет брать уроки на стороне? Они могут оказаться очень суровыми, но судить, да и выбирать, придётся уже нашим внукам и правнукам. А покуда сохраняют всю свою актуальность полуторавековой давности слова императора: “Я опередил вас на пятьдесят лет”.